



А. Б.

Встреча с М. А. Волошиным

Дело было в Феодосии в конце ноября 1920 г. Большевики явно одерживали верх над истощенной и поредевшей армией генерала Врангеля. Гражданское население Крыма волновалось и не знало, что ему предпринять и куда укрыться от опасности, нависшей над последним клочком русской земли.

И вот в этой угрожающей обстановке в среде небольшого кружка людей возникла мысль периодически устраивать литературные вечера с определенной программой для каждого, с тем чтобы хотя немного забыться от гнетущей мысли о ближайшем будущем. На первый же из этих вечеров был приглашен и я.

<...> Все чего-то ждут. Оказывается — именно М. Волошина, который обещал сегодня прочесть план своего вновь задуманного произведения. Вскоре пришел и он, но рассмотреть его в этот вечер мне так и не удалось — темнота мешала.

Принесли какой-то шаткий столик и поставили на него кухонную керосиновую лампочку-коптилку с дыркой в стекле, заклеенной газетной бумажкой. Максимилиан Александрович сел к столу, вынул из кармана сверток бумаг, долго в нем рылся и, наконец отобрал несколько листочков, начал читать.

Что он читал — не помню. Лампа мигала, то разгораясь, то коптя, и издавала страшное зловоние. Внимание при такой обстановке сосредоточить было трудно. Помню, что тема была религиозная и по окончании чтения вызвала оживленные разговоры и замечания. Автор внимательно к ним прислушивался и делал на своих листках какие-то замечания. На вопрос, когда же вещь будет окончательно написана, он, складывая бумажки обратно в карман, ответил, что «теперь предстоит мне самая кропотливая часть работы — чеканить стихи. Они мне даются очень трудно. Надо подбирать слово к слову — как стеклышки в мозаичной картине».

Этим собрание на этот раз и закончилось. Уж очень была неприветливая обстановка.

Следующий раз я просил собраться у меня. <...> Был приготовлен чай и большой пирог с мясом. Собралось человек десять, в том числе и Максимилиан Александрович.

Я предложил гостям самим установить порядок вечера: что прежде — чтение, а потом чай или, наоборот, сперва напьемся чаю и закусим пирогом, а потом уже займемся интересующим нас делом? Единогласно было постановлено начать вечер чаепитием. Волошин же откровенно признался, что он вот уже несколько дней голодает и сейчас, видя пирог, прямо не в силах читать.

«Если бы пирога здесь не было — я бы не замечал, что я голоден, но вид пищи мне сейчас нестерпим». И он с еле скрываемой жадностью начал есть пирог, запивая его чаем с сахаром: сахару тогда в Феодосии и за большие деньги трудно было достать.

Вот тут я и рассмотрел его внимательно. Среднего роста, худой, с большой головой, размер которой еще увеличивался громадной копной темно-каштановых, сильно седеющих волос, которые он постоянно расчесывал и подправлял растопыренными в виде гребенки пальцами; сильно поношенная, помятая, в пятнах визитка с протертым локтем на левой руке; белая, ставшая серой, рубаха, с мягким воротником; галстук, съехавший набок; короткие брюки, истертые и изношенные до последнего предела, с засохшей стародавней грязью и бахромой внизу; и, особенно, ботинки — когда-то щегольские, но сейчас изношенные до последней возможности, грязные, с распоротыми швами и зияющими дырами, из которых выглядывали пальцы ног. Все это производило буквально страшное впечатление именно тем, что человек с такой внешностью ни своим общественным положением, ни тем более своим нравственным обликом не заслуживал ее. И он это сознавал, а потому получалось впечатление, что внешность сама по себе, а он сам по себе, и они один от другого совершенно не зависят и только случайно сошлись воедино.

Вечер, собственно, предполагалось посвятить мистике. Каждому из присутствующих предоставлялось рассказать, но непременно из своей жизни, что-либо не поддающееся рассудочной критике.

Когда дошла очередь до М. А. Волошина, все единогласно просили его прочесть сперва его стихотворение «Святая Русь». Он не отказывался, а только спросил: «Разве не надоело?» — и прочел его наизусть.

Слезы градом катились из моих глаз, и у меня не было сил и даже желания их остановить. Таково же впечатление было и у остальных присутствовавших. Для нас в то время подлинная Россия доживала последние часы. Она была в агонии — это все чувствовали, а потому и плакали. Стихотворение своей лирикой отвечало общему настроению, а темой — всему виденному, продуманному и прочувствованному.

Далее он предложил нам прослушать отрывки из еще тогда не законченного вступления в задуманную им большую, как он называл, поэму-биографию под заглавием «Святая Мария-Дева». Вступление

в нее носило особое заглавие — «Акафист Божьей Матери». Такой удивительной вещи я еще никогда не слышал. Здесь гармонии стиха и удивительный подбор хвалебных слов достигли у поэта верха совершенства.

Так любить Божью Матерь, так восхвалять Ее, так искренно и не лицемерно обожать и преклоняться перед Нею может только глубоко и без изъяна верующий человек...

И подумать только, что это человек, так любящий Россию и такой верующий, остался добровольно в Крыму под властью большевиков!

Но для этого у него была особая причина, которую он мне поведал несколько дней спустя, когда началась эвакуация и все зашевелились, заторопились спасаться кто куда мог.

Военное училище спешно готовилось к погрузке на транспорт «Дон». Я послал сказать М. А. Волошину, что могу взять его с собой под видом псаломщика училищной церкви. Он ответил через посланного, что принимает мое предложение; но накануне погрузки пришел ко мне и отказался ехать с нами. Я его уговаривал; он было поколебался, но потом категорически отказался.

«Не могу, не уговаривайте, — говорил он, — не могу, потому что я не один: на моей совести лежит моя библиотека в Коктебеле. Если я ее брошу, ее ведь расхитят, уничтожат, она погибнет. А там книги, с которыми я сжился с детства, книги с моими пометами. Я без них жить не могу, или это будет не жизнь, а каторга — сплошная тоска и мучение». «Но ведь вы здесь замерзнете, с голоду умрете», — уговаривал я. «Свет не без добрых людей — кто-нибудь накормит. Я знаю, — продолжал он, — библиотеку мою от меня отберут, но я буду просить оставить меня сторожем при ней. И они послушают меня, потому что — кто же лучше уберезет ее для них же, как не я».

И остался... Попрощался и ушел.

Когда «Дон» отвалил от пристани, была ночь. Феодосийское побережье озарялось пожарами. Гремели взрывы снарядных погребов. Большевики надвигались. Стучали пулеметы.

И мне на борту транспорта мерещилась фигура этого удивительного человека в фетровой старенькой помятой шляпе, с развевающимися по ветру волосами, в дырявой визитке, с галстуком, съехавшим в сторону, в обтрепанных брюках и в расхлябанных, рваных ботинках, шагающего во тьме ночной по грязному поселку, озаренному заревом пожаров, шагающего навстречу большевикам с единственной целью — спасти свои книги... Человек не от мира сего!..

